

СНОВА АПРЕЛЬ 1917 г.

Буквально за два дня до Февральской революции, покончившей с монархией в России, следователь Вревский вызвал к себе служившего в Феодосии прапорщика Николая Беккера.

Дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова и его служанки Глафиры Браницкой не было закрыто, но после исчезновения основного подозреваемого оно пылилось на полке в железном шкафу следователя. Там же находилась еще одна синяя папка: *“Дело о без вести пропавших солдатах Феодосийской крепостной артиллерийской команды Денисенко Т. И. и Борзом Б. Р.”*.

Не зная о причине вызова, Беккер был обеспокоен и всю предыдущую ночь не спал, уговаривая себя, что все обойдется.

В одиннадцать часов утра Беккер поднялся на второй этаж и вошел в кабинет. Там ничего не изменилось, только стены стали еще темнее да больше скопилось пыли в углах, куда не доставала щетка уборщика. За столом, у лампы под зеленым абажуром сидел вовсе не изменившийся Александр Ионович.

При виде Беккера следователь поднялся и показал на стул, но руки не подал, что Беккер счел плохим предзнаменованием.

Вревский разглядывал Беккера с любопытством, будто отыскивая перемены в его лице. Не найдя таковых, объяснил, что вызов — пустая формальность, связанная с отъездом Вревского в Симферополь к новой должности.

Достав из покрашенного в коричневый цвет железного шкафа две синие папки, он положил их перед собой.

— Эти два дела, — сказал он, — тесно связаны.

Под его правой рукой покоилось дело об убийстве Берестова, под левой ладонью — дело о дезертирах.

— Все же вы утвердились в мнении, что убийцей мог быть один из моих солдат? — спросил Беккер.

— У меня нет окончательного мнения, — ответил Вревский, — Я не исключаю вины Андрея Берестова.

— Я всегда говорил вам — это исключено! Он был добрым человеком. И безобидным.

— Оставьте эти причитания для барышень, — буркнул Вревский. — Невинные не устраивают побегов.

— А вы уверены, что это побег? Я слышал, что они покончили с собой.

— Не играет роли. Они убежали, инсценировав самоубийство. Но потом их лодка попала в шторм. Шансы на то, что они остались в живых, ничтожны.

— И раз один подозреваемый избежал вашей кары, — попытался улыбнуться Беккер, — вы ищите другого.

— Не другого — других. Пропавшие солдаты — из вашей команды. Они притом ваши земляки. Одного из них затем находят убитым. Рядом — пустая шкатулка Берестова. Как мне не подозревать!

— Но при чем тут я?

— А разве я вас уже обвинил?

— Вы меня вызвали сюда.

— Из любопытства. Только из любопытства, Допустим, что все же убийцы и грабители были солдаты. Откуда они узнали о ценностях? О

шкатулке?

— Не знаю.

— А я думаю, что от человека, близкого к Берестову. Или к его родственникам.

— Вот и ищите, — сказал Беккер с раздражением. — Могу предложить версию.

— Пожалуйста.

— Один из солдат был любовником служанки Берестова. И она с ним поделилась тайной?

— Вы не знали эту женщину?

— То-то и видно... А можно я предложу версию?

— Я — весь внимание.

— Берестов поделился тайной со своим гимназическим другом Беккером. А у Беккера стесненное денежное положение. Беккер готов на все!

— Александр Ионович!

— Это же только предположение. Но если было так, то я вам сочувствую.

— Почему?

— Потому что вы не получили никаких денег. Ваши сообщники вас надули. Это бывает в уголовном мире.

— Простите, Александр Ионович, я хоте бы узнать, с какой целью меня вызвали из Феодосии?

— Только чтобы поставить вас в известность о закрытии дела, которое вас касается. Дела о сбежавших солдатах. Вот и все...

Через неделю, 3 марта, оказавшись в Ялте, Беккер увидел, как толпа громит здание городского суда.

В первые дни революции по всей России прокатилась волна расправ с полицейскими, нападений на полицейские участки и тюрьмы. А так как старые власти в Ялте не оказывали революции никакого сопротивления, следовало предпринять какой-нибудь революционный шаг, оставить в воспоминание потомкам решительное

действие, которое войдет в учебники истории. Таким действием и стало взятие городского суда.

Вовремя присоединившийся к толпе Беккер смог пройти в кабинет срочно уехавшего в Симферополь следователя и отыскать у него в столе две синие папки.

Переехав в Севастополь, Коля взял папки с собой.

В двадцатых числах марта Фридрих Платтен, швейцарский социалист, человек солидный, входящий в германское посольство, подписал с Германией письменное соглашение, по которому германская сторона брала на себя обязательство провезти русских революционеров через свою территорию. В условиях соглашения был ряд любопытных пунктов, о которых в свое время не распространялись. Враги социалистов потому, что их не знали, а сами социалисты потому, что не хотели огласки. В соглашении говорилось, что едут все желающие, независимо от их взглядов на войну. В их вагон не имеет права войти ни один германский чиновник или военный без

разрешения Платтена. Никакого контроля, никакой проверки багажа — если русские и везут бомбы, они смогут воспользоваться лишь по ту сторону границы. Социалисты обязуются взамен постараться добыть в обмен за себя несколько германских пленных... Последний пункт превращал соглашение в сделку, скорее гуманного, чем политического характера. Был он лжив — никто не верил, что вот-вот из-за горизонта покажутся “пикельхельмы” германских собратьев!

Но германцы, соблазненные дьяволом революции, господином Ганецким, уверовали в то, что эти большевики скоро развалят русское государство тогда можно будет взять украинские степи голыми руками.

Ганецкий не обманул. Прежде чем рухнуть, германская империя без всякой пользы для себя сожрала половину России.

Переговоры шли в Берне, а большинство эмигрантов обитало в более добром, уютном Цюрихе. Когда из Берлина телеграфировали, что протокол подписан, Владимир Ильич бросился в комнату, начал кидать в чемодан вещи и говорить Надежде Константиновне:

— Первым же поездом! Посмотри расписание, когда ближайший поезд на Берн.

До ближайшего поезда оставалось всего два часа.

— Поезжай один, я приеду завтра, — уговаривала Владимира Ильича Крупская. Но он был неумолим — он требовал совместного отъезда и как всегда победил. За час сорок три минуты Ульяновы сложили книги и нехитрое имущество, уничтожили все компрометирующие письма. Переоделись. Владимир Ильич сбегал в библиотеку и по дороге даже успел купить библиотекарше небольшой букетик тюльпанов, не пожалев на это трех минут и двух почти последних франков. Надежда Константиновна за это время расплатилась с хозяином Камерером, вместе с ним проверила, все ли в порядке в оставляемой квартире, снесла вниз часть вещей — остальные стащил сам Владимир Ильич, а потом побежал искать извозчика.

Первым же поездом Ульяновы успели в Берн. Там, в Народном Доме, уже собрались их друзья и знакомые — Зиновьевы, Усиевичи, нервная и привлекательная Инесса Арманд, буйный Мартов, упрямый Дан, Ольга Равич, Харитонов, Розенблюм, Абрамович из Шо-де-Фон и просто Абрамович, Бойцов, Миха Цхакая, Сокольников, Радек — светила социалистической мысли, бунтари, заговорщики, мечтатели... Всего их было тридцать человек, если не считать четырехлетнего кудрявого сына одной женщины,

принадлежавшей к еврейской партии Бунд. Мальчика звали Робертом, он любил Сокольникова и больше никого не хотел слушаться.

Вагон был первого класса: к русским социалистам немцы приставили хороших поваров, которые кормили сытно, как мало кто из них питался в последнее время.

— Это тебе, Ильич, не глухонемой швед, — смеялся Зиновьев, который знал о несбывшихся планах Владимира Ильича поехать через Германию под видом глухонемого скандинава.

И Ленин согласился, что тот, отвергнутый план был авантюрен — любая случайность, проговорка, ошибка могли привести к аресту. А вдруг Ильича приняли бы за английского шпиона?

Все смеялись над такой возможностью, и Радек даже нарисовал карикатуру — на фоне Кельнского собора два дюжих немецких агента ведут согбенного Ленина в тюрьму, а на груди у него табличка: “Агент коварного Альбиона”.

Ленин подолгу стоял у окна. На чистеньких перронах небольших станций, возле чистеньких домов столь милой его сердцу Германии были видны только старики или инвалиды — война

уже подскребла последние остатки мужчин. Даже в полях трудились женщины и дети. Германия была близка к концу своих сил, своего терпения, и Ленин, не зная еще, что встретит его дома, начал размышлять о революции в Германии — революция легче всего поднимается именно там, где терпение народа находится на крайнем пределе.

31 марта тридцать товарищей были в Стокгольме. Это была нейтральная земля — главная и самая опасная часть путешествия была завершена. До России оставался буквально один шаг. В Стокгольме русских товарищей встретили шведские коллеги.

Их провели в зал, украшенный красными знаменами. Там состоялся небольшой митинг, респектабельный и соответствующий характеру аудитории и гостей.

Некоторое время, пока Петроград и Стокгольм обменивались телеграммами, ждали в Швеции. Временное правительство не пожелало впустить в Россию двух человек из тридцати. Въезд был запрещен Платтену и Радеку как иностранным подданным.

Потом была Финляндия — родные, шатучие, старенькие, пропахшие потом, водкой, колбасой вагоны третьего класса. Так закончилось

воскресенье, 2 апреля, начало пасхальной недели. Солдаты, ехавшие в вагоне, угощали мальчика Роберта куличом.

Миновали Выборг — до Питера оставалось несколько часов. Вагон заполнился народом, большей частью солдатами и мешочниками. За окнами, на платформах финских станций, стояли безоружные русские солдаты — видно было, что армия рассыпается.

Усиевич высунулся в окно и закричал:

— Да здравствует мировая революция!

Солдаты на перроне не успели сообразить, что кричит этот странный барин, и проводили его удивленными взглядами. Владимир Ильич сцепился с бледным поручиком, сторонником войны до победного конца. Они так громко и горячо спорили, что вокруг собралась толпа солдат и мешочников — всем хотелось послушать ученых людей.

На этот раз не было ни повара, ни официантов — хорошо, что в Стокгольме шведские социалисты снабдили товарищей колбасой, булками и другим, давно невиданным в России провиантом. Эмигранты разделились на группы и уничтожали припасы. Вагон наполнился дразнящим ароматом иностранной пищи, что

отделило эмигрантов от своих, местных.

К Териокам успели подчистить все, собрали вещи и прилипли к окнам — шли дачные места, многие здесь когда-то жили летом, купались в чистой Маркизовой луже и рыбачили. Дачи в Куоккале выглядели из-за заслонов сосен — вокруг них не было заборов — только полосы дикого камня.

Перед станцией Белоостров рельсы разбежались. Там, на платформе, стояла кучка людей в пальто и шляпах — с залива дул свежий ветер, они ждали давно и сильно замерзли.

Было уже темно, Мария Ильинична бегала вдоль состава, выкрикивая: “Володя! Володя! Где Ульянов, товарищи?” Усиевич закричал из окна:

— Мы здесь! Идите сюда!

Вагоны были не освещены, и люди угадывали друг друга только по голосам.

Встречающие влезли в поезд и прошли в нужный вагон. Ильич выбежал к переходному тамбуру и обнял сестру. Он прослезился. Все были рады — трудно было поверить, что товарищи смогли прорваться сквозь страшные опасности путешествия через Германию.

— Трудно поверить! — восклицал Шляпников.

— Нас арестуют? — тихо спросил Владимир Ильич, увлекая сестру в сторону, в пустой закуток кондуктора. — Нас обязательно арестуют.

— Не думаю, — авторитетно ответила Мария Ильинична.

Шел к концу понедельник, 3 апреля. На площади перед Финляндским вокзалом собралось немало народа — революция испытывала острый дефицит в лидерах — слишком быстро они возвышались и бывали низвергнуты толпой, готовой к эйфории и разочарованиям. На этот раз приехали самые настоящие, самые непримиримые вожди — Мартов, Ульянов, Зиновьев, Цхакая и другие, согласившиеся на долгое изгнание, но отказавшиеся от компромисса с царским режимом.

Когда поезд медленно остановился, почти упершись трубой паровоза в белое с желтым железнодорожно-готическое двухэтажное строение вокзала, солдаты и мешочники из первых вагонов устремились вперед и буквально смели депутацию, которая пришла встречать коллег.

Лишь когда толпа схлынула, большевик

Чугурин, знавший Ленина по школе в Лонжюмо, отыскал Владимира Ильича, окруженного товарищами по путешествию.

Он начал совать ему в руки картонную книжечку, и Ульянов, не сообразив, отталкивал книжечку, полагая, что от него требуют автограф.

— Разрешите! — закричал Чугунов, так что люди вокруг замолчали. Разрешите вам, товарищ Ульянов, вручить партийный билет Выборгской организации нашей партии под номером шестьсот! Шестьсот! — повторил он. Шестьсот, — словно эта цифра имела магическое значение.

В зале вокзала, куда ввалились шумной, веселой, гудящей толпой приезжие, было пусто. У дверей уже стояли караулы. Некоторые из эмигрантов почувствовали холодок в груди — это было похоже на арест.

Но из небольшой группы людей в центре плохо освещенного зала отделился господин в черном пальто с бархатным воротником. Он снял котелок и пошел навстречу приехавшим.

— Я рад приветствовать возвращение на родину наших признанных борцов за свободу! — хрипло воскликнул он. В речи оратора чувствовался кавказский акцент.

Речь председателя Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов грузинского социалиста Чхеидзе была короткой и соответствовала моменту. Ленин, который не выносил Чхеидзе со времен партийного раскола, вертел головой, отмечая все мелочи, столь привычные уже петроградцам, но новые на его цепкий взгляд. И то, что караул был вооружен и хорошо одет, но без погон, и то, что женщины в Петрограде следят за европейской модой, и то, как осунулся и постарел Чхеидзе...

— Что там, на площади? — обернулся Ленин к Чугунову. — Вы собрали людей?

— Там несколько сот человек.

— Говорить буду я.

— Но не все пришли встречать вас, — ответил наивный Чугунов, который не сделает карьеры в партии и государстве. — Здесь же сам Мартов!

Ленин покосился на Мартова, который уже мотал курчавой, седеющей гривой, ожидая, когда сможет достойно и красиво ответить на приветствие Чхеидзе.

— Спасибо! — громко сказал Ульянов, как только Чхеидзе закончил речь. Он протянул ему руку. — Еще раз спасибо.

Торжество Мартова было скомкано. И еще более скомкано, когда Ленин сказал:

— Дела партийные и советские никуда не денутся. А нас ждет народ.

Он показал вперед, на арку, ведущую из вокзала на площадь.

Это было совершенно не по-товарищески по отношению к Чхеидзе, который поздно вечером, не жалея своего времени, приехал встречать эмигрантов, это было не по-товарищески по отношению к остальным эмигрантам, не менее известным в народе, чем Ульянов. Но пора женевских и цюрихских дискуссий кончилась. Все как дети, повторил мысленно Ленин особенно не полюбившийся глупый стишок из эсеровской газеты, — все как дети, день так розов, ночи нет...

Широкими быстрыми шагами Ленин пересек зал — один по гулким плитам, вышел, сопровождаемый догнавшими его большевиками на ступени вокзала морской прожектор, привезенный из Кронштадта, ударил ему в лицо — и фигурки на ступенях вокзала приобрели особое, высвеченное значение.

— Выше! — сказал Ленин. — Я не могу говорить отсюда — меня не видно.

— Мы приготовили автомобиль, — сказал Чугунов. — Товарищ Керенский всегда выступает с автомобиля.

— Чепуха. Автомобиль недостаточно высок, — сказал Ленин. — Это чей броневик? Не враждебный?

— Прислан советом для охраны, — сказал Чугунов.

— Вот оттуда я и скажу речь!

— Ну что вы, Владимир Ильич, вы же ушибетесь, — сказал Чугунов.

— Володя, ты обязательно упадешь, — сказала Мария Ильинична.

— Пускай говорит Сокольников. Он моложе и крепче, — сказала Инесса Арманд.

Владимир Ильич только отмахнулся от них. Все они, друзья, родственники, близкие люди, оставались еще во вчерашнем дне — в эмиграции, в пути, в теоретических дебатах. Лишь Ленин увидел в темной, уставшей от ожидания, но ждущей все же толпе ту силу, которую только он может схватить и держать в кулаке — тогда он непобедим. Разожмешь кулак на минуту — она вырвется и сожрет тебя. И это

понимание, это чувство толпы делало его сильнее всех, кто окружал его или противостоял ему.

И когда Ленин полез на броневик, ему стали помогать — в нем была сила. И он сказал свою речь!

Совсем уж ночью Ленин побывал в особняке любовницы великих князей, очаровательной балерины Кшесинской, где располагался штаб его партии. Ему принесли чаю в чашке, которой столь недавно касались пальцы любовника балерины. Здесь собрались функционеры партии, некоторые ворчали — слишком поздно. Они еще не привыкли к тому, что революция не знает времени суток.

Рано утром, переночевав у сестры, а вернее проведя остаток ночи за разговорами, Ленин, сопровождаемый женой и Марией, поехал на Волково кладбище.

Там он стоял, ежился, ни с кем не говорил, ни на кого не смотрел перед могилами мамы и

сестры Оли. Родные умерли без него — он не смог даже проститься с ними, и, как человек буржуазный, твердых семейных устоев, Ленин чувствовал себя глубоко виноватым перед мамой и Оленькой. Он не пытался безмолвно оправдываться перед ними, но скорбел о нелепости жизни, которая разрывает связи между самыми родными и доверчиво близкими людьми. И он искренне жалел, что мама так и не смогла дожить до этих дней — и не смогла оказаться на исчерченной лучами прожекторов площади перед Финляндским вокзалом, где он смело выхватил всю честь и славу встречи у своих соперников. Мамочка умерла, удрученная и униженная хождениями по равнодушным и тупым высоким инстанциям, умоляя за жизнь брата, потом за его, Володину свободу... Она бы еще жила и жила, если бы не эти Романовы, если бы не гнусная машина, созданная ими, если бы не отвратительная азиатчина России. Сегодня ночью, стоя на броневике и видя под собой запрокинутые синие во тьме лица сотен людей, он понял, что сделал еще один шаг к отмщению.

— Спи, мама, — прошептал Владимир Ильич, — спи, Оленька.

Он высморкался и медленно пошел с кладбища. Надя догнала его, взяла под руку. С другой стороны шла Маша. И так случился миг, когда никто более не нужен, когда мир

смыкается.

Извозчик ждал у ворот, — вчера Мария Ильинична передала Володе небольшую сумму из партийной кассы и они смогли позволить себе раскатывать на извозчике.

Владимир Ильич помог взобраться в пролетку жене и сестре, потом уселся сам.

— Это тебе не броневик, — пошутила Мария, и Владимир Ильич не рассердился, а рассеянно улыбнулся.

— Куда ехать, барин? — спросил извозчик.

— На Херсонскую? — Ленин сомневался, правильно ли он помнит адрес Бонч-Бруевича.

— Херсонская, три, — сказала Мария Ильинична.

Вынырнув из потока времени, Андрей очутился в том же узком проходе между зданием комендатуры и высоким каменным забором. Дул страшный ветер, стонали и хрипели почти

невидимые в рассветной мгле деревья. Окна везде были потушены, и такое было ощущение, что во всем городе — ни души.

Может, и к лучшему, подумал Андрей, что я очутился здесь на рассвете по крайней мере есть время осмотреться.

И тут же его охватило беспокойство за Лидочку — как она там, плывет ли еще в потоке времени или уже ждет на набережной?

Стоять на месте было холодно, да и нетерпение не давало оставаться недвижимым. Андрей поднял воротник студенческой тужурки — стало чуть теплее и осторожно пошел в сторону судебного здания. Во дворе его он остановился, глядя на темные окна второго этажа и выискивая глазами кабинет Вревского. Не преуспев в этом, Андрей обогнул здание суда и через полуоткрытые ворота вышел на улицу.

На улице было темно — единственный в поле зрения фонарь на перекрестке. Второй, тусклый, в разбитом колпаке, еле светил над входом в суд. Прибитая к двери белая картонка привлекла внимание Андрея. Ему с чего-то вдруг показалось, что это — объявление о поиске и вознаграждении за его голову. Факт того, что он отсутствовал на этом свете более двух лет, не вмещался в сознание.

Кривыми буквами на картонке было выведено:

“ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
СОЛДАТСКИХ И РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ”

Картонка частично закрывала стеклянную вывеску “Городской суд”, угол которой был отбит.

Во всем в этом была несуразность — кто посмел разбить вывеску, кто посмел наклеить на нее какую-то нелепую вывеску о “совете”? Кто с кем советуется? Рабочие с солдатами?

Порыв ветра с моря заставил Андрея поежиться — где же спрятаться? Он пошевелил пальцами в карманах и понял, что у него нет с собой ни копейки, ни бумажки — ничего. Все отобрано при обыске, когда его сажали в камеру. Он как бы не существует. Не ко Вревскому же идти с жалобой — отдайте мой студенческий билет и двадцать рублей, что были в него вложены!

Под утро каждый город являет собой наиболее пустынное зрелище. Даже припозднившиеся гуляки уже добрались до дома, а первые дворники и торговцы, что съезжаются на базар, еще не поднялись.

Андрей быстро пошел вниз к набережной, припрыгивая, чтобы согреться. Никто не встретился ему. Постепенно светало.

Глупость положения заключалась в том, что Андрей не мог сунуться даже в ночлежку, потому что у него не было ни гроша.

Андрей пошел быстрым шагом, хотя быстрый шаг не согревал — ветер выдувал все тепло, что набирало тело от движения, надеясь отыскать какую-нибудь шаланду или парходик, где можно спрятаться. Опыта у Андрея по этой части никакого не было, а холод мешал сосредоточиться и придумать выход. Может быть, отправиться в полицейский участок и заявить, что тебя обокрали? Ты студент из Петрограда, приехал на лечение и вот — такая незадача — ни копейки... Пока будут разбираться, можно выспаться. В плане обнаружился недостаток: в разгар этого душещипательного разговора открывается дверь, и входит Вревский, впрочем, достаточно одного из полицейских, которые знают Берестова в лицо. Нет, план этот слишком рискованный. Попасть в тюрьму, из которой с такими приключениями убежал, может лишь существо весьма глупое.

Набережная была пуста. Здесь было светлее, чем в городе. Можно гасить фонари.

Андрей пошел еще быстрее, чтобы не думать о пронизывающем ветре, и тут спереди увидел выходящих на набережную трех солдат — все трое с винтовками за плечами. Андрей еще толком не разглядел их, но уже всей шкурой почувствовал — это патруль. Патрулю холодно и скучно, и он, конечно же, остановит студента.

Андрей тут же свернул в дверь — дверь была не заперта. За ней был черный неосвещенный вестибюль. А куда дальше — неизвестно. Андрей и нащупал рукой правую стену и пошел вдоль нее, ощущая пальцами шершавость масляной краски. Вот впадина, ниша — это еще одна дверь, дверь заперта. Снова стена...

Сзади хлопнула входная дверь.

— Эй, где ты? — послышалось оттуда. Значит, они увидели, куда он скрылся.

Сзади загорелся ручной фонарь. В эти мгновения руки и ноги Андрея действовали самостоятельно, как у зайца, которого со всех сторон обложили волки.

Андрей забрался под лестницу, в тесное пространство, куда хозяева или жильцы дома втискивали, по обычаю русских людей, то, что уже иногда никому не пригодится, а выкидывать жалко; там стояли старые сундуки с тряпьем.

Солдаты потоптались у входа, взяв лучом фонаря по подъезду, не уверенные, безвреден беглец или крайне опасен и вот-вот выстрелит из револьвера. В конце концов точка зрения осторожных победила, и патруль ушел, а Андрей понял, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Он оказался загнан в сухое, относительно теплое место, и, устроив гнездо в тряпках. Андрей проспал часа три до тех пор, пока начавшийся день не заставил многочисленных шумных жильцов этого подъезда выскочить на лестницу и начать беготню и свары над головой Андрея. Андрей вылез из-под лестницы и тут же столкнулся нос к носу с юной девушкой, которая шла с ведром воды. Девушка вылила ведро ему под ноги и завопила, словно увидела дракона.

Когда же Андрей, подгоняемый криком, вылетел из подъезда и, движимый инстинктом самосохранения, нырнул в подворотню, он встретился с двумя грузчиками, что несли громадное зеркало в резной раме. Андрея они не заметили, зато он целую секунду мог глазеть на себя. Он не закричал и не убежал подобно той пугливой девице, потому что был смелым и выдержанным мужчиной. Он попытался вжаться в стенку, чтобы его не заметило страшное ночное существо, вурдалак, покрытый густым слоем паутины, тянувшейся за ним белыми кисейными

хвостами, тонкой, подлестничной пылью, скрывавшей черты лица и руки, с волосами, стоявшими вертикально и цветом своим, и общим видом схожими с громадным куском пакли.

Андрей в ужасе зажмурился, а когда через секунду открыл глаза вновь, то грузчики с зеркалом уже миновали его, и Андрею ничего не оставалось, как поверить в то, что чудовище — не кто иной, как он сам.

Андрей кинулся следом за грузчиками, которые уже внесли зеркало в черный ход гостиницы “Мариано” — там было в тот момент пустынно. Андрей огляделся и на счастье увидел то, о чем и мечтать не смел — туалетную комнату для служебного персонала гостиницы, не только с писсуаром, но и умывальником, возле которого висело вафельное полотенце и лежал обмылок.

С помощью этих предметов, а также расчески Андрей за какие-нибудь две минуты смог привести себя в видимость порядка и, когда вышел вновь во двор, вдруг сообразил, что светит солнце, стало тепло и жизнь замечательна, но зверски хочется жрать.

Несмотря на мытье и чистку, Андреи все равно выглядел сомнительно, и гулять по набережной ему не следовало. Проблемы еды,

убежища, тепла оставались — даже газету купить было не на что: правда, с газетой тут же образовалось — он увидел край газеты, торчащий из урны, и вытащил ее, подумав, как быстро человек, становясь нищим, теряет обычную стеснительность, ограничивающую жизнь добропорядочного обывателя. Сколько раз Андрею приходилось удивляться тому, как нагло ведут себя босяки, а сейчас он понял, что куда ближе к бродягам, чем к законопослушным ялтинцам.

Газета от 17 апреля, судя по бумаге, была относительно свежей — только неясно, вчерашней или ранее. Дело в том, что урна в сквере была туго набита мусором, мусор даже вываливался из нее. Значит, и на самом деле произошли пертурбации, так как при пертурбациях у нас первым делом перестают убирать улицы.

Характер пертурбаций, название которым было “революция”, Андрей вскоре извлек из газеты, которая сообщала о дебатах в Петроградском совете, решениях Временного правительства, приезде в столицу вождей эсдеков Мартова и Ульянова, о митинге у Финляндского вокзала. Тут же следовал комментарий редактора “Таврии”, в котором тот убедительно доказывал, что Ульянов и его присные были пропущены через Германию

германским правительством, потому что они существуют на немецкие деньги для того, чтоб разорить Россию, а затем передать ее немцам. Но самое ужасное: война еще продолжалась и военные действия происходили как во Франции, так и в Прибалтике.

Миллионы человек сидели в окопах, погибали, страдали от ран, мучились простудой и вшами. О судьбе Николая и царского семейства в газете не сообщалось — так что Андрей не знал, жив ли император или, может быть, его уже обезглавили, как гражданина Людовика Капета.

Странно это было — только вчера Андрей жил, вернее, сидел в тюрьме, в государстве невероятно прочном, тысячелетнем, как Рим, и вечном. И, убегая от Вревского, Андрей с Лидочкой вовсе не думали, что такое государство может рухнуть или в нем может произойти настоящая революция.

И вот нет этого вечного государства...

А Андрей, не изменившись, не проживши более дня, оказался вовсе в иной эпохе. Теперь он должен найти здесь Лидочку и попытаться с ней вместе начать какую-то жизнь. Но как искать, если... и только тут Андрей осознал весь ужас события: ведь она уже год как здесь! И совсем одна!

Об этом Андрей подумал, уже стоя на набережной так, чтобы держать в виду древний платан. Дерево еще только распускалось. Листья, легкие, изрезанные, были нежного, салатного цвета.

Андрей понял, что офицеры, идущие по набережной — видно, большей частью выздоравливающие из госпиталей, — выглядели необычно и бедно.

Потом он сообразил — офицеры были без погон. Погоны были сняты совсем недавно — даже материя на плечах мундиров и шинелей была темнее.

Революция.

Солдаты не отдавали офицерам чести — это тоже понимаешь не сразу. Сначала чувствуешь неладное, потом решаешь, что солдат просто задумался и сейчас получит выговор. Но офицер отворачивается, морщится, делает вид, что ничего не произошло, что так и надо.

...Лидочка стольким рисковала, пронося табакерку для Андрея! Но почему ты думаешь, что она решилась последовать твоему примеру?

Ведь в плавании по времени есть особенность — его можно отложить. Отложить на любой срок.

Потому что жалко оставить папу и маму, жалко расстаться с друзьями, которых, может, и не увидишь через два или три года. Всякое бывает. Почему ты должен плыть один, в неизвестности, во тьме, когда это же путешествие можно совершить со своими близкими и друзьями. Что могло заставить Лидочку кинуть все, чтобы не расставаться с Андрюшей? И имеет ли он, Андрей, моральное право требовать от другого человека подобной преданности? Да, проще всего представить себе, что Лидочка решит ждать Андрея в нормальной скорости бытия. И так прошел год, второй — и природа взяла свое. Лидочка встретила другого человека, может быть, более достойного, чем неудавшийся студент и уголовный преступник. И вышла за него замуж. И не исключено, что Андрюша сейчас увидит Лидочку на набережной — один ребенок в коляске, второй семенит, держась ручонкой за край юбки. А рядом выхаживает следователь Вревский... нет, это слишком гадко — Лидочка не пойдет на такое. Рядом идет Коля Беккер — вот это вполне возможно!

Незаметно для себя Андрей начал сердиться на Лидочку, словно она уже совершила все те поступки, которые Андрей ей приписал. Он уже ревновал ее к Коле Беккеру. Тут он себя оборвал — нельзя же так плохо думать о людях!

Свернув газету в трубочку, Андрей смело

пошел по набережной, не зная, куда идет, и забыв о безопасности, — в голове было пусто и легко — и это ощущение, вернее всего, проистекало от голода.

Разумеется, у платана Лидочки не было. В любом варианте ее не могло там быть. Сейчас еще утро — в такое время не ходят на свидания.

Андрей решил было пойти домой к Иваницким. Пускай Лидочка все сама расскажет. Он пошел к армянской церкви, но тут же спохватился, сообразил, что если Лидочка последовала за ним и ее еще нет в Ялте — каким он покажется ее родителям? Конечно, самое разумное сейчас поехать в Симферополь к Марин Павловне, но нищему до Симферополя далеко, как до Луны.

Утро превращалось в теплый ветреный день, такой весенний, что хотелось сходить с ума, бегать за собаками, прыгать с обрыва вниз... Делать все, что нельзя. Наверное, все настоящие революции должны происходить только весной. Рожденные в такие дни, они вызваны к жизни

добрыми, животворящими чувствами. К чему хорошему может привести революция, происшедшая посреди лета в самую жару, как во Франции в 1789 году? Допустима ли революция осенью в ноябре, когда идет дождь или дождь со снегом, и мокрые листья превращаются под ногами в слизь? Такая революция вызовет к жизни людей угрюмых, готовых угнетать своих ближних — только чтобы удержаться на своих холодных сумеречных тронах. Нет, осенняя революция немыслима! А что касается русской революции, начавшейся на переломе к марту, можно сказать только, что она поспешила, ей бы подождать, пока кончатся ночные заморозки и прилетят певчие птицы. А то в ней останется внутренняя зябкость и неустроенность для бездомных людей...

Размышляя так, Андрей взбирался в гору. Позади остались парки, примыкающие к набережной, виллы, что скрываются среди кипарисов и чье присутствие выдают лишь каменные ворота в стиле модерн. Остались позади и улочки двухэтажных каменных домиков с шумными внутренними дворами либо маленькие пансионаты, которые растянулись на сотни миль по всем берегам Черного и Средиземного морей — от Батума до Гибралтара, где утром горстка небогатых постояльцев встречается за скучным завтраком, а вечером за

невкусным обедом. И ночью, обнимая своего возлюбленного, подруга горячо шепчет ему на ухо: “Уедем! Уедем немедленно из этой дыры! Здесь больше существовать нельзя!”

Выше пошли улочки татарских домов, без окон наружу — за дувалами, сложенными из камня. Над дувалами видны вершины фруктовых деревьев, а порой через каменную изгородь свесится виноградная, пока еще даже без листьев, лоза.

Андрей долго не мог отыскать нужный дом, хотя, казалось, дорога к нему два дня назад была проста — ведь никуда не сворачивали. Потом остановился в гнудом, без окон и домов, переулке, словно в траншее, пробитой каким-то землеройным насекомым, и постарался сообразить — ведь был он здесь два с половиной года назад, осенью, вечером. Представь, голубчик, как это могло выглядеть осенним вечером?

Деревянная калитка в доме, к которому направился после некоторого раздумья Андрей, открылась, будто его там ждали.

В калитке стоял, почесывая босыми пальцами одной ноги икру другой, юноша — Андрей сразу его узнал — ведь видел его подростком всего два дня назад. Это был ялтинский родственник

Ахмета, который приносил им тогда фрукты и напиток.

— Добрый день, — сказал Андрей.

— Добрый день, — как эхо, только тоном выше подхватил юноша.

— Я ищу Ахмета Керимова, — сказал Андрей.

Юноша ничего не ответил, а отвел взгляд в сторону, будто его заинтересовали голуби, опустившиеся на забор.

— Вы меня слышите? — сказал Андрей. — Я ищу моего друга, Ахмета Керимова. Я друг Ахмета Керимова, — Андрей готов был говорить по складам, чтобы вбить слова в упрямую голову юноши. — Мне нужно видеть Ахмета. У меня к нему важное дело.

— Что такое? — раздался голос из глубины двора. Спрашивали по-татарски. Андрей отлично понимал и говорил по-татарски. Как и Коля Беккер. Татары в Ялте были глубоко убеждены, что русские их языка не знают — то ли неспособны, то ли им не дал такого счастья Аллах. И им странно даже допустить, что в том же Симферополе татары и русские, одинаково небогатые, живут рядом в одинаковых скромных домах и вместе играют и учатся. Ведь на Южном

берегу Крыма русские — это большей частью отдыхающие или болезненные люди. И их дети, конечно же, не играют с татарами.

— Тут пришел человек, — ответил юноша.

— Зачем пришел?

— Хочет видеть дядю.

— Откуда пришел?

Рядом с юношей в проеме показался пожилой татарин, который щелкал орешки. Его лицо тоже было знакомо Андрею. Он холодно смотрел на Андрея, который поклонился ему.

— Простите, — сказал Андрей все так же по-русски. — Я был в этом доме давно, осенью четырнадцатого года. Мы приезжали сюда, к Ахмету. Ахмет мой друг. Потом приехала полиция, нас схватили и увезли. Но Ахмет убежал. Вы помните?

— А что тебе нужно? — лениво спросил пожилой татарин.

— Мне нужен Ахмет Керимов.

— Я не знаю такого человека, — сказал пожилой татарин. Но калитку они не закрывали.

Хотели послушать, что еще скажет Андрей.

— Я убежал из полиции, — сказал Андрей. — Я давний друг Ахмета. Я был у него в доме в Симферополе.

— Станный человек, — сказал юноша потатарски, глядя мимо Андрея. Ему сказали, а он не понимает. Это нехорошо.

— Вы мне не доверяете, — сказал Андрей. — Может быть, вы правы. Но тогда позвольте мне написать письмо для Ахмета. Когда он придет к вам, вы дадите ему мое письмо.

— Я не знаю Ахмета, — сказал пожилой татарин.

— Но вы возьмете мое письмо?

— Я не возьму письмо, — сказал татарин и ушел внутрь двора.

— У вас есть бумага и карандаш? — спросил Андрей.

— Откуда в нашем бедном доме карандаш и бумага? — спросил юноша.

— К сожалению, у меня сейчас нет денег, — сказал Андрей. — Дайте мне взаймы лист бумаги.

Потом я верну.

— Пускай пишет, — донесся голос изнутри. — Проведи его на айван, пускай пишет.

Андрей тут же сделал движение вперед и этим удивил юношу.

— Ты куда? — спросил тот.

— Я хочу пройти на айван, — сказал Андрей по-татарски, — чтобы ты принес мне карандаш и бумагу и я написал письмо твоему дяде Ахмету.

— Что? — юноша был потрясен.

— Сколько тебе говорить? — Андрей отстранил его.

Юноша молча шел следом.

На галерее Андрей увидел низкий столик. Женщины, что выбивали ковры, быстро ушли со двора, прикрывая лица платками, но смотрели на Андрея заинтересованно и весело. Он отметил, что внутри дома его не пригласили.

Пожилой татарин встал в отдалении.

— Вы желаете есть? Или пить? — спросил он.

— Спасибо, я выпью катыш, — Андрей решил,

что к кумысу принесут лепешку.

Он написал записку Ахмету. В ней сообщил, что приехал в Ялту. Ждет Лидочку. Хотел бы видеть Ахмета. Что он придет за ответом завтра.

Когда он кончил писать, юноша принес поднос с оловянным кувшином с кумысом и лепешку на тарелке.

Из-за занавески, прикрывавшей вход в дом, был слышен женский смех. Малыш на толстых, перетянутых ниточками, ножках приковылял на веранду и замер в изумлении перед зрелищем настоящего чужого человека. Он протянул руку к блестящей пуговице на тужурке Андрея.

Андрей старался пить кумыс медленно, чтобы съесть побольше лепешки, не показавшись голодным, — из-за занавесок за ним наблюдали.

Пожилой татарин кончил читать записку, передал ее юноше, который унес ее в дом.

— Может быть, Ахмет завтра придет, — сказал пожилой татарин. — Может, не придет. Тебе есть где жить?

— Я еще не знаю, — сказал Андрей.

— Мы не можем оставить тебя здесь. За этим

домом могут следить.

— Даже сейчас?

— Может быть. Тебе нужны деньги, эффенди?

— Я буду благодарен вам, — сказал Андрей.

Татарин протянул Андрею двадцать пять рублей. На устах императора Александра II блуждала загадочная улыбка.

— Я тебя помню, — сказал татарин. — Ты Берестов. Андрей. Ты убил своего отчима и его женщину.

— Это придумали. Я никого не убивал.

— Ахмет тоже так думает. Значит, я тоже так думаю. Завтра приходи вечером, когда темно, и не приведи за собой никого.

— Хорошо, — сказал Андрей.

Обретенная вера в человечество,
подкрепленная кумысом, лепешкой и двадцатью

пятью рублями, сразу изменила краски мира на куда более радужные. В конце концов все складывается отлично. Татары узнали его и оказались людьми порядочными, и Ахмет, разумеется, скоро появится. Впрочем, при таких деньгах мы — миллионеры! Денег должно хватить до Симферополя — до тети Маруси.

Андрей понял: вот чего он хочет более всего — увидеть тетю, посидеть с ней за чаем в низенькой комнатке в Глухом переулке, а потом заснуть на своей железной койке с шарами на спинках, из которой он давно вырос, но так привык поджимать ноги, что поджимает их и на вольных диванах.

— Значит — в Симферополь! А пока хорошо бы взглянуть на дом Берестовых.

Андрей поднимался по улице к дому отчима, не таясь и, в общем, не опасаясь нежеланной встречи. Он был здесь чужой.

Осознание собственной чужеродности пришло не сразу — только сейчас, когда большая часть дня уже миновала.

В Андрее все более накапливалось реальное осознание прошедшего времени. Оно складывалось из малых деталей — из того, как вырос татарский мальчик, превратившийся за

несколько минут в юношу, из того, как облупилась краска на новеньком вчера фасаде гостиницы “Крым”, как изменились — сказочно и невероятно — газеты и те новости, что они сообщали. Как изменилось все подчеркивая этим, что совсем не изменился Андрей. И не только осталась царапина на тыльной стороне кисти, не только не постарела кожа лица — не одряхлела одежда. Нельзя же носить студенческую тужурку два с половиной года и вовсе ее не износить! Нельзя же — Андрею даже стало на секунду смешно — не менять столько времени нижнего белья и не заметить такого конфуза. Люди вокруг за это время износили множество носков и панталон. Все, за исключением Андрея Берестова. И, вернее всего, Лидии.

Почему человек, думал Андрей, карабкаясь в гору и отступая к каменной подпорной стенке, чтобы пропустить громоздкий грузовик — такого он в четырнадцатом году и не видал, — так привыкает к тому, что должно вызвать переворот в его душе и даже убить его. Почему он идет по городу Ялте уже после революции, как Рип-Ван Винкль, проснувшийся после многолетнего сна, но не падает в обморок, а лишь отмечает, как счетовод: грузовик совсем другой, юбки стали, по крайней мере, на пядь короче, и непривычному к такому зрелищу Андрею хочется деликатно

отвернуться от девицы, которая топает ему навстречу, заголив ноги почти до колен.

...А вот и дом Берестовых.

Вот кто изменился за эти годы — родной, несчастный, такой невезучий дом. В нем новый хозяин — интересно, у кого они купили этот дом? У Андрея Берестова — нет, он преступник, значит, у Марии Павловны — но ее могли и не признать наследницей — может быть, виллу откупила Ялтинская управа? Впрочем, тебя, Андрей, это не касается.

Андрей остановился у невысокой каменной изгороди. Новый хозяин почему-то выкорчевал розарий и гибридные яблони — все свободное место он засадил виноградом: получилась целая плантация.

Андрею захотелось поглядеть на нового хозяина, который так глуп, что срубил яблони и розарий, давшие бы ему куда больший доход. Но хозяина он так и не увидел — зато во двор вышла хозяйка, очень толстая гречанка или армянка со множеством детей. Они суетились вокруг нее, как муравьи вокруг скарабея.

А она спит в моей комнатке, подумал Андрей, а может, там спят сразу трое ее детишек? А что же они сделали с мебелью? Продали, вот что

сделали!..

Андрей, не оборачиваясь, пошел прочь от дома, расстроенный более, чем когда-либо за этот день, потому что он воочию увидел, что сделало время с дорогим для него местом, — и тут же уколола злость на Лидочку, — не утасила бы ты меня сюда, я, может быть, что-нибудь сделал бы с домом, спас его.

Ему не хотелось сейчас думать о том, что он сидел бы в тюрьме. Как можно думать о тюрьме, если ты идешь по весенней улице?

Несмотря на укол злости, а может, благодаря ему, Андрей вместо того, чтобы сразу идти к линейкам, вдруг побежал к армянской церкви. Чтобы случайно не встретить кого-нибудь из Иваницких, он выбрал путь задом, к садику дома, где стоит беседка, в которой Лидочка с Хачиком когда-то ждала его.

Уже начало вечереть — весеннее солнце опустилось в пышную подушку облаков. Сразу похолодало. Андрей уверенно добрался до последнего забора и, прежде чем перелезть через него, заглянул внутрь. И увидел, что в окне Лидочки уже зажегся свет — там мальчик, который поставил лампу на стол, склонился и что-то пишет. А в саду, приведенном в порядок и подметенном, бегают сразу трое мальчиков.

— Молодой человек, — окликнул одного из бегающих мальчиков Андрей.

Откликнулись сразу все — три схожие физиономии обратились к нему.

— Здесь Иваницкие живут? — спросил Андрей, показывая на второй этаж дома.

— Здесь мы живем, — строго сказал мальчик.

— А как ваша фамилия?

— Мы Гидасповы, — сказал старший мальчик.

— А где же Иваницкие? — спросил Андрей.

— А Иваницкие живут в Одессе.

— И давно они живут в Одессе?

— А мы не знаем, — взял на себя инициативу младший брат, — мы приехали, а они уже уехали.

— Так откуда же ты знаешь, что они в Одессе?

— Так все говорят! — обрадованно сообщил средний брат.

— И Лидочка?

— Кто?

— Дочка у них, Лидочка, — сказал Андрей, понимая, какую глупость он несет, — откуда детям знать про Лидочку.

— Нету у них дочери, — сообщил старший брат. — Утонула она. В море. Это страшная трагедия.

— Они покинули Ялту, чтобы не видеть этих страшных мест, — сказал младший.

И по словам и по интонации Андрей понял, что мальчики буквально цитируют слова взрослых — те, что они слышали тысячу раз. Он так и представил себе: пришли очередные гости, садятся за самовар, а мама Гидаспова или папа Гидаспов говорят:

— А знаете, кто жил здесь раньше? Нет? Это же удивительная, трагическая история! Страшная трагедия...

— Спасибо, — сказал Андрей мальчикам. — Идите домой, а то замерзнете.

— А мы лучше знаем, — ответил строго старший.

На поездку в Симферополь пришлось выложить почти все деньги — только и осталось, чтобы перекусить на площади перед автобусом. Автобус вроде был тем же самым, что ходил здесь в начале войны, но был ободран и помят, словно приходился братом-неряхой пай-автобусу.

Автобус был набит. Настолько, что Андрей простоял до Алушты на одной ноге между сдвинутыми в бастион мешками и крепостными стенами чемоданов. И народ в автобусе изменился — куда-то делись отдыхающие, люди воспитанные, чисто одетые и в основном добродушные. Зато возникла и наполнила автобус малороссийская чернь, громкоголосая и агрессивная, появились и цепкие, голодные, ободранные жители грязных городков Донбасса и южной России.

Да и кондуктор за прошедшие годы приспособился к новым людям и новым нравам. Он ловко карабкался по баррикадам, кричал и ругался, как торговка на базаре.

Путешествие оказалось страшно утомительным, и, когда, уже в темноте, под мелким морозящим дождиком, добрались до Симферополя, Андрей оперся о стену дома,

чтобы кровь снова потекла по венам. Последний час он даже сидел, но на одной его коленке разместились половина бравого казака, а на второй бидон с медом.

Отдышавшись, Андрей пошел к себе домой.

Вечер скрывал изменения в Симферополе, даже если они и были значительны. Тем более что фонарей на улицах осталось немного — в каждую революцию фонарям достается прежде всего.

Над губернаторским домом висели красные флаги, и у освещенного входа, несмотря на поздний час, стояли солдаты с винтовками.

К входу подъехал автомобиль с глядевшим назад пулеметом на заднем сиденье. В автомобиле рядом с шофером сидела некрасивая худая женщина с прямыми, коротко постриженными волосами. Она легко соскочила на тротуар. Женщина была в кавалерийской шинели, которая достигала земли, и полы ее развевались на ходу.

Показавшийся на пороге губернаторского дома пожилой сухой человек в пенсне сказал с прибалтийским акцентом:

— Товарищ Островская, это никуда не

годится. Ни вас, ни мотора — с утра! Нам же выезжать!

— Товарищ Гавен! — залепетала Островская.
— Я была в типографии. Вы же знаете ситуацию.

Они вошли вдвоем в дом, и солдат отдал им честь. Оживленно разговаривая, скрылись в здании.

Это был совсем другой мир — словно он, Андрюша, был французским матросом, ушедшим в плавание за год до Великой революции и вернулся прямо на Гревскую площадь, чтобы увидеть казнь Людовика и обнимающихся Дантона и Робеспьера.

Андрей остался бы здесь поглядеть на этот новый мир, но он так устал, что решил отложить знакомство с революцией на завтра. А сейчас — объятия Марии Павловны — и спать, спать, спать...

Но здесь его постигло горькое разочарование.

Дом был заперт, причем замок даже проржавел. Андрей стучал, потом пытался сломать замок, но тщетно.

Он так обессилел, что, не добившись ничего, сел на каменную тумбу возле своих ворот. Там

его и увидела Нина Беккер, которая возвращалась домой из думы, где служила теперь машинисткой.

Она отпрянула, увидев черную фигуру, сидящую у соседних ворот, — чуть было не убежала. Но потом угадала Андрея.

— Андрей Сергеевич, — сказала она, — неужели это вы?

— Нина! Здравствуй. Что случилось? Где Мария Павловна?

— Пошли ко мне, — сказала Нина, — пошли скорее, ты же простудишься, тут очень холодно.

— Где тетя, скажи мне, в конце концов!

— Тети твоей нет, ты извини меня, но я ничем не могла помочь, я даже не знала. Она сразу умерла, очень легко, почти не мучилась, честное слово, Андрей Сергеевич.

— Какой я тебе Андрей Сергеевич! — вдруг озлился Андрей. — Мы с тобой одногодки были.

— Да, конечно, вы меня извините, Андрей Сергеевич, но прошло столько времени, столько лет...